

УДК 821.161.1.09 +821(4).09

Оляндэр Л.К.

доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой славянской филологии
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
кафедра славянской филологии
просп. Воли, г. Луцк, Украина, 43025
olk32@ukr.net

**ЧЕЛОВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА КАК ПОВОД К
ДИАЛОГУ С ПИСАТЕЛЯМИ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ**

В статье, исходя из характеристики, данной А. Пушкину Л. Шестовым («... он вольно и смело движется» и «...никто из русских писателей не умел так глубоко и напряженно думать, как он»), утверждается, что в пушкинской концепции человек предстает в движении самой жизни, что эта концепция лишена окаменелости и ее невозможно и не нужно схватывать клещами дефиниций. Доказано, что художественно-философская мысль А. Пушкина всегда природно диалогична, что его концепция, выходя за границы своего времени, стимулирует реципиента рассматривать ее в контексте концепций человека, представленных в творчестве других писателей, живущих в иные эпохи, в том числе и последующие.

Ключевые слова: анаграмматические предложения, дефиниция, интенция, концепция человека, претекст, пушкинское уравнение, реципиент, синергетика, текст.

Ми чуєм звуки музики нетлінні
Світів людських і далей незбагнених.
На свято чисте ми скликаєм тіні

Святих часів, часів благословених.
І таємниця формул тих магічних
Чарує душі, мерехтить у слові
І вічний світ у втіленнях невічних

Перекладає в символи чудові.
Вони бринять так ніжно і мінливо,
Звертають нас до істини обличчям.
І з цього кола випасти можливо
Лише у центр найглибших втаємничень.

Герман Гессе. Игра в бисер¹.

Творчество Пушкина... есть картина мира, построенная на ценностных основаниях. <...> ... в этой картине мира... все на своих местах: как высокое и светлое, так и низкое и темное; все соотношения и связи в этой картине естественны... Отсюда и возможность постижения, хотя бы частичного, хотя бы в основных чертах, этих соотношений, а стало быть, и картины в целом, и пушкинского духовного мира. Вместе с тем картина эта – не готовая, а становящаяся, пронизана сплошным движением в сознании и творчестве

автора. <...> Будучи картиною мира и духовной биографией одновременно, пушкинское творчество тем самым есть – выражаясь сухим языком терминов- художественная антропология.

Валентин Непомнящий. Да ведают потомки православных.
Пушкин. Россия. Мы.

При этом еще раз следует подчеркнуть, что в «Медном всаднике» столкновение образов-символов отнюдь не является аллегорией какого-либо однозначного смысла, а обозначает некоторое культурно-историческое уравнение, допускающее любую историко-смысловую подстановку, при которой сохраняется *соотношение* структурных позиций парадигмы. Пушкин изучает возможности, скрытые в трагически противоречивых элементах, составляющих его парадигму истории, а не стремится нам истолковать какую-то конечную, им уже постигнутую и без остатка поддающуюся конечной формулировке мысль.

Юрий Лотман. Пушкин.

...прежде устойчиво существовавшая традиция конфликта «личность и государство» и его реализация посредством образной пары «Евгений – Петр» должна быть скорректирована.<...> и ...должно отказаться от утверждения, что образ Петра создан Пушкиным в поэме как образ противоречивый, как образ творца-тирана. Релевантность подобных трактовок потеснена в «Медном всаднике» иной целевой задачей: создания славы и трагедии.

Ольга Богданова. «Наше описание вернее...»
(А. С. Пушкин): образы Петра и бедного Евгения в поэме
«Медный всадник».

Роль А. Пушкина в духовной жизни народа трудно переоценить. Его авторитет в культуре «сопоставим с царским» [См.:26]. И не потому ли столь велика амплитуда в его оценках: от «*Солнца в нашей поэзии...*» до «...*сбро-сим Пушкина с корабля современности*». Однако, как бы то ни было, он всегда присутствует, в том числе и в таких формулировках, как «*наш Пушкин*» и «*мой Пушкин*» (М. Цветаева). Оба подхода говорят о присвоении пушкинского мира: в первом случае – множествами, которые берут от него прежде всего то, что отвечает их интересам, взглядам и устремлениям, о чем подробно, но со сдержанной экспрессией пишет В. Непомнящий; во втором – речь идет об индивидуально-личностном и даже исповедальном отношении к поэту. Все это вместе взятое, кипя и сталкиваясь в спорах, напоминает «игру», в которой ни один из «игроков» не одерживает окончательной победы и не достигает цели. И трудность, по мнению В. Непомнящего, высказанному им в разделе книги «Да ведают потомки православных...» (1999) – «Центральное явление нашей культуры» – состоит в том, что при таком присвоении сама «*наука становится сферой споров не об истине, а о вкусах*».

«Но, – продолжает он, – ведь это вот что означает: что ключ к целостному пониманию Пушкина, что ключевое и фундаментальное в самом явлении Пушкина лежит в области не специальной – филологической, эстетической, собственно литературной, – а в сфере духовной, что коренное в этом феномене – его духовная природа» [См. : 26].

Конечно, можно не принимать некоторую категоричность в суждениях ученого, но нельзя не согласиться с ним, что человек, предавая забвению ради – порой бессмысленных – потребительских запросов, главные духовные ценности, сознательно подрывает основы самой жизни, что неизбежно ведет к трагическому концу. И в этом с ним согласуются многие деятели науки и искусства. В частности, русский писатель В. Астафьев («Царь-рыба»), белорусский В. Козько («Неруш»), русский перевод – «Колесом дорога»), украинский П. Сорока («Симфонія Петриківського лісу»), польський З. Герберт («Barbaużyńca w ogrodzie», что означает «Варвар в саду») и др. А вместе с тем возрастает и потребность постичь феномен А. С. Пушкина.

Лотмановское положение о том, что А. Пушкин создал в «Медном всаднике» *«...некоторое культурно-историческое уравнение, допускающее любящую историко-смысловую подстановку, при которой сохраняется соотношение структурных позиций»* [20, 297], ставит русского поэта и мыслителя не только в первые ряды мировых – и, прежде всего, европейских – художников и философов, но и указывает на то, что пушкинские подходы к человеческому *Бытию*, взятому в его главнейших ракурсах и противоречиях, служат своеобразным ключом к всеохватывающему пониманию проблемы – Человек и Мир, позволяя рассматривать ее не только на материале русской жизни. При этом А. Пушкин уводит от голой и холодной умозрительности, он всегда дает почувствовать, говоря словами В. Непомнящего, «напряженное сердечное созерцание мира как Божьего творения и мира человеческого духа» [См. дет.: 26]. Пушкинская концепция *жизни – человека – истории* таким образом поднимает *вечные темы* и представляет их в обновленном виде, будь то «Дон Жуан» или «Наброски к замыслу Фауста». Художественно-философская мысль А. Пушкина всегда природно диалогична. Ее понятийный уровень, кроющийся за живой и полнокровной образностью, не оставляет реципиента в положении наслаждающегося только гармонией пушкинских творений, но стимулирует его, раскрывая таящиеся в глубинах текста смыслы, к дальнейшему постижению самой сущности человека и его природы, человека в частной жизни, истории и мироздании. И такое движение реципиентов по пути его познания было непростым, противоречивым, определяющим неоднозначное отношение к существующим представлениям, к их носителям, в том числе и к А. Пушкину. Очень точно об этом в свое время сказал Л. Шестов в статье об «Умозрение и апокалипсис» (1927) В. Соловьева:

«Это загадочно, непонятно, – писал он, – но это так: Соловьев, как и Толстой, не любил Пушкина и враждовал с ним. <...> По-видимому, и Соловьева и Толстого больше всего раздражали в Пушкине его поистине царственное, так редко встречающееся у людей доверие к жизни и любовь к мирозданию. В Библии рассказывается, что, создавши человека, Бог благословил его. Когда читаешь Пушкина, иной раз кажется, что вновь до нас доходят слова всеми забытого благословения или, говоря

его собственными словами, что “как некий херувим он несколько занес нам песен райских”. Пушкин редко оглядывается назад, проверяет, допрашивает. Он вольно и смело движется, не загадывая о будущем. И не потому, что мало думает: никто из русских писателей не умел так глубоко и напряженно думать, как он, и Соловьев был, конечно, очень далек от истины, когда доказывал, что у Пушкина надо искать красоты, а за “мыслями” идти в иные места» [37, 327].

В призыве Л. Шестова – идти за «мыслями» вопреки В. Соловьеву именно к А. Пушкину – особое внимание обращают на себя два принципиальных положения: «он *вольно и смело движется*» и «...*никто из русских писателей не умел так глубоко и напряженно думать, как он*».

Эти положения философа указывают на специфические ключевые моменты в концепции человека у А. Пушкина, характеризую ее. Ведь едва ли не главное в ней то, что человек не *представлен*, но беспрестанно, видоизменяясь, *предстает* в *движении* самой жизни, а потому пушкинская концепция лишена окаменелости и ее невозможно схватить клещами дефиниций. Одновременно шестовские положения служат и методологическим подходом для дальнейшего осмысления видения человека А. Пушкиным. Философ позволяет, не теряя ни на минуту из виду конкретного исторического времени, вывести пушкинскую концепцию за его границы, стимулируя реципиента рассматривать ее в контексте концепций человека, представленных в творчестве других писателей, живущих в иные эпохи, в том числе и последующие. Безусловно, такой ракурс ставит исследователя перед глобальной проблемой, всесторонне охватить которую в рамках одной статьи невозможно. В связи с этим внимание будет сосредоточено лишь на некоторых характерных примерах.

Одновременно шестовская мысль *о движении* говорит о том, что не только тщетно искать у А. Пушкина прямые определения *понятия человек*, как это встречается у философов, но даже и не нужно стремиться такое понятие сформулировать. Важнее – что и составляет цель статьи – через поэтику проследить, если не все, то, по крайней мере, некоторые особенности пушкинского *движения* в этом направлении, понимая, что вместе с ходом жизни неизбежно меняются акценты в представлениях человека о самом себе. Это не всегда означает полный разрыв, но человек – вдруг! – предстает, как тот и не тот, т. е. как другой в своих оценках мира и отношениях с ним. А это предопределяет необходимость присутствия философских и художественно-философских взглядов в художественном тексте А. Пушкина, которые обнаруживаются за *словом / кодом*. Возникающие и сменяющиеся одна другой в Западной Европе концепции человека не являются исключением: они, как показывает пушкинский текст, проходят сквозь русское сознание, трансформируются в нем, обретая черты национального характера, не исключая и тех, которые грозят ему утратой самого себя. Отсюда в романе «Евгений Онегин» герой характеризуется и

«Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостинной появлялся он»

[27, V, 26]

и как

«Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?»
Уж не *пародия* ли он?»

[27, V, 159]

Комментируя эти строки, Н. Драгомирецкая писала:

«Звучит хор голосов или ряд один за другим вводимых, которые порознь прозвучали, один – в строфах “романа в стихах”, другие – в романах мировой литературы, которые читал Онегин, русских критического реализма XIX века (имеется в виду статья С. Г. Бочарова «Онегин и Ставрогин». – Л. О.) <...>. То была маска героя. Поэт объяснил ее тогда следствием “недуга”, “подобного английскому сплину” – состоянием начавшийся хандры. Маска раскрывается в хоре как “пародия”, как потеря человеческого лица, национального самосознания, языка, превращение в ничтожный призрак» [15, 200].

Мысль Н. Драгомирецької о втраті героєм – внаслідок верхоглядства і слідування моді – *свого людського обличчя і національного самосвідомості (Москвич в Гарольдовому плащі)* отримує несподіваний поворот в статті українського письменника, філософа і економіста – Н. Д. Руденко (1920-2002) – «Адам Сміт і Євгеній Онегін. Чи винен Євгеній Онегін?». Обращаясь к IV, V, VII строфам первой главы «Евгения Онегина», ее автор рассматривает роман в неожиданном ракурсе, с позиций критики ошибочного, по его убеждению, выбора экономического пути своего развития Западом и Россией, которые предпочли – вслед за Англией – учение Адама Смита учению Франсуа Кене². Н. Руденко, подойдя к мировосприятию пушкинского героя как к реальному историческому факту, убедился, что *homo sapiens* способен легкомысленно отнестись к своим собственным великим открытиям, что в конечном счете направило цивилизацию ошибочным путем, ведущим к трагическим последствиям:

«Завжди, за всіх часів, – пише Н. Руденко, – справжніх інтелігентів було менше, ніж тих, що вміли удавати з себе інтелігентів. Добре відомо, що ідеї носяться у повітрі. Але саме тому вони легко перетворюються в моду.

<...> Ідеї носяться у повітрі тому, що людям властиво набувати досвід з побаченого і пережитого. Усі бачили, яких успіхів досягла Англія, ставши на шлях промислового розвитку. І хоч російське дворянство колись у всьому наслідувало французів, однак Франція занадто довго залишалася аграрною країною. Тому *за часів Пушкіна відбулася духовна переорієнтація* – Онегін навіть зовнішньо, в манерах й одязі, наслідує англійців, а не французів. Ось чому якась там дивна таблиця, що її колись уклав Кене, у Росії лишилася непомітною. Зате *ідеї Адама Сміта, підсвічені й розквітчані успіхами його батьківщини, відразу облетіли світ і докотилися до петербурзьких салонів*. Вони виявилися науковими не тому, що такими були насправді, а тому, що походили з Лондона» (курсив мой. -Л. О.) [30, 268].

Очевидно, що український учений акцентує увагу на произошедшей в Європі і світі – в зв'язі з промисловою революцією в Англії XVIII в. – *духовною переорієнтацією* людини. І Росія не стала винятком: *ідеї Адама Сміта... сразу облетели мир и докатились до петербургских салонов*. Включив Євгенія Онегіна в такий широкий історико-економічний контекст, Н. Руденко, не відкидаючи устоявшися в літературознавстві характеристики образу (он про них навіть не згадує), дозволяє сприймати пушкінський образ ще і як тип, вбираючий в себе риси європейського *духовно переорієнтованого* людини. І тим самим руденківський похід на якийсь момент виводить глибоко російський тип Онегіна за національні межі. В контексті роздумів Н. Руденко з Онегіним виникає приблизно те, що і з Дон-Кіхотом, Дон-Жуаном, Отцем Горіо і др. Під таким кутом зору, з однієї сторони, масштабність типизації пушкінського героя і життєвий охоплення в романі збільшилися. Однак, з іншої сторони, по ходу подальшого аналізу теоретичних заблуджень К. Маркса образ Євгенія Онегіна – Н. Руденко робить це свідомо і цілеспрямовано – зводиться до символу тільки одного єдиного риси – верхоглядства. І, втрачаючи всі інші живі риси, він віддаляється від пушкінської повноти, а, відповідно, образ намірено схематизується і спрощується. Євгеній Онегін як *«російський денді від культури і науки»*[30, 274] стає для Н. Руденко образом нарицательним. Поставив во главу угла поверхневе, некритичне ставлення до економічних теорій таких *многочисленных денди, живущих в последующие эпохи* (в тексті Н. Руденко це слово також узагальнено, як, наприклад, *хлестаковщина*), і, критикуючи їх покірне слухання за марксовим «Капіталом», учений приходив до висновку, що недолік Євгенія Онегіна дійсно винний, тому що завдяки його *верхоглядству* в Росії в кінці кінців з'явилася сталінізм [См. дет: 30, 269-274].

Таким чином, при порівнянні двох текстів суворо академічний літературознавчий текст Н. Драгомирецької починає взаємодіяти з

экономическим текстом Н. Руденко, раскрывая тем самым различные аспекты пушкинского типа, в котором содержатся и непреходящие общечеловеческие черты. Кроме того, герой-верхогляд А. Пушкина как определенный тип послужил украинскому ученому и писателю своеобразным инструментом для анализа сложившейся критической, угрожающей самой жизни ситуации на планете в результате того, что создана энергозатратная экономика, направленная на удовлетворение ненасытных, а то и извращенных запросов человека-потребителя, интересы которого сводятся к испытанию наслаждений. И тут неожиданно смыкаются взгляды Н. Руденко-экономиста и В. Непомнящего-пушкиниста, который видит трагедию Онегина в том, что вся его жизнь направлена только на *потребление*, которое и приводит к трагической утрате духовности.

С голосом Н. Руденко в защиту жизни и духовности человека созвучен, но несколько с иной стороны, и голос сербского писателя-постмодерниста М. Павича, написавшего рассказ «Герцог Фердинанд читает Пушкина» (1986). Глубокий знаток творчества русского поэта, переводчик его произведений, в том числе и романа «Евгений Онегин», М. Павич сюжетную канву своего рассказа соткал из эпизодов отношений Ленского с Онегиным, «Сказки о рыбаке и рыбке» и исторического эпизода – убийство эрцгерцога Фердинанда, – послужившего началом Первой мировой войны. И у того, и у другого писателя в основе лежит философское осмысление катастрофических последствий нарушения заповеди Христа: «Не убий!», осуществленное в раздумьях над текстом А. Пушкина и «вместе» с А. Пушкиным.

Здесь на лицо только три, из многих существующих красноречивых подстановок в *пушкинское уравнение*, о котором говорит Ю. Лотман, которые убеждают в действенности «движущейся» концепции А. Пушкина, концепции, позволяющей прогнозировать качества и судьбу человека.

Что касается собственно пушкинской концепции человека, воспроизведенного в образе Евгения Онегина, то он представлен во всей полноте жизни, которая достигается многими путями, в том числе и благодаря пушкинской *энциклопедичности*, являющейся неотъемлемой составной частью художественно-философского мышления поэта. Примечательно, что *энциклопедичность* в художественной системе А. Пушкина – это не простое насыщение текста фактами, что имеет место: пушкинская *энциклопедичность* органически переплавляется в живую образность.

Энциклопедичность как феноменальное свойство пушкинского художественно-философского мышления, позволившая В. Белинскому определить «Евгения Онегина» как *энциклопедию русской жизни*, характерна не только для романа в стихах, но и для других произведений и, прежде всего, для поэмы «Медный всадник». И эта пушкинская феноменальность, имеющая прямое отношение к философскому осмыслению самой сущности человека и его *Бытия* – как в понимании классической философии, так и в понимании М. Хайдеггера (Da-sein) – со всей очевидностью проЯвляется (графика Т. Гун-

доровой) и осознается в работе О. Богдановой «Наше описание вернее...»³. И с особой очевидностью проявляется тогда, когда анализируется исторический фон, который «разламывается и разделяется (3 ноября 1824 // 25 декабря 1825 г.) [3, 21], когда рассматриваются образы «стройных полков, воспринимаемых как волны с высоты дворцового балкона». Эти образы возникают в «Медном всаднике» ассоциативно благодаря тому, что архаические *стогны* (площадь), вызывающие в памяти трагический образ вольного Новгорода Великого, символа свободы человека, «на звуковом уровне явно коррелируют (играют) со словом *строй*»:

«И тогда “опасный путь” по “ближним улицам и дальним”, в который пустились царские генералы, – пишет исследователь, – прочитывается как “путь спасения” не только “тонущего народа”, но и монархии.

Бой Петра с волнами порождает уже нескрываемую аллюзию на подавление восставшей стихии (мятежной) стихии его царственным потомком. На сцене незримо возникает образ Николая I» [3, 22].

Открытие О. Богдановой ассоциативного созвучия *стогны / строй* трудно переоценить, потому что за вслушиванием в эти звуки распознаются «шаги *Истории самой*» (Я. Смеляков), те *шаги*, которые отчетливо улавливал и поразному интонировал А. Пушкин. И, говоря о пушкинской концепции человека, чаще акцентируют понятие *духовности*, что, конечно, верно, но как-то упускают из виду еще одну особенность: А. Пушкин – поэт и мыслитель – пробуждает в человеке живое ощущение *Истории*, не исчезающее ее присутствие, *Истории*, которая не есть прошедшее, запечатленное в *запыленных хартиях*, но текущая в нашей крови. И это неотъемлемая часть пушкинской концепции человека, что лишней раз говорит о ее *подвижности*.

Возникающая в «Медном всаднике» ассоциация *стогны – строй*, в ее связи с метафорическим образом *стихии*,⁴ активизирует в тезаурусе реципиента многие трагические эпизоды истории, когда народ, сопротивляясь насилию, стремился отстоять или добыть свою волю. Это и расправа Ивана Грозного с новгородцами,⁵ это и целый тематический пласт в литературе, в котором поэты-декабристы – К. Рылеев («Вадим», «Марфа Посадница», «Певец перед боем») и В. Раевский («Певец в темнице» [29], «К друзьям»[28]) – выступили с открытой пропагандой идей, направленных против тирании. Вместе с этими именами ассоциативно вспоминаются и политические программы декабристов, и их судьбы, и изображения в пушкинской рукописи «Медного всадника» пятерых повешенных – П. Пестеля, С. Муравьева-Апостола, М. Бестужева-Рюмина, П. Каховского, К. Рылеева и набросок пером его профиля и профиля В. Кюхельбекера⁶.

Таким образом не только в тексте, но и в подтексте, и в затекстовом пространстве за кодовым словом *стогны* встает образ свободолюбивой личности, которая, противопоставляя *не-свободе* идеал *свободы* (а это и есть концепция

человека эпохи романтизма), готова жертвовать и жертвовала ради ее торжества жизнью. Об этом А. Пушкин напоминает, прибегая к стихотворению П. Вяземского «Море» как интертексту, смыслообразующее значение которого детально проанализировано О. Богдановой [3, 12, 16]⁷.

Однако, идя путем дальнейших ассоциаций и размышляя о воплощенной в поэме *стихии*, над ее образом, можно подойти к картинам «Медного всадника» и фактам биографии А. Пушкина не с позиций классического пушкиноведения с его методологией, а иначе, опираясь на законы синергетики, соединяя, казалось бы, несоединимое. Очевидно, что ни у кого не может вызвать сомнения, что у А. Пушкина визуальный уровень в изображении действительности чрезвычайно высокий: Нева, одетая в гранит, сразу вызывает яркий до осязаемости реальный зрительный образ, существующий как объект, от которого можно дистанцироваться и сопоставить его с другим зрительным образом: Пушкин (!) в камер-юнкерском мундире. И в этом, казалось бы, произвольном сопоставлении открываются на уровне подсознательного – этого всечеловеческого языка – два плененных метафорических образа: свобода Невы и свобода личности, которые оказались в заточении, скованными. И – как неизбежное следствие – бунт, взрыв: Нева бросилась на город, на гранитную стену; Пушкин – в бой, на дуэль. И тогда раскрывается общая, физически осязаемая закономерность: нельзя безнаказанно пережимать пружину... И «Ужо тебе!» начинает звучать очень грозно.

Тут могут возникнуть упреки в произвольном толковании текста «Медного всадника», которые вполне обоснованы, ибо действительно нет доказательств, что поэт ставил перед собой и такую задачу. Скорее всего, не ставил. Но разве обязательно утверждать, что так говорит А. Пушкин? И разве не правомерно иначе поставить вопрос: какие мысли у реципиента может породить «Медный всадник»? И разве такой «отлет» от текста не ведет к углублению понимания не только трагедии поэта и его эпохи, но и общей закономерности? И разве не предстает в таком освещении «Медный всадник» как предупреждение? И разве не об этом говорит сцена – Клим Самгин перед Медным всадником в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина»? Ведь справедливо утверждает М. Кузьмин:

«...художник творит свое творение, но и творение продолжает творить: оно ставит вопросы, восстанавливает вечный спор между “есть” и “суть”. Включаясь в этот спор не по правилам, зритель становится философом» [См. дет.: 17].

Одним словом, так или иначе, но «Медный всадник», пройдя через опыт постмодернистского сознания,⁸ с его тягью к синергетике, смелостью сопоставлять и сплавлять в неожиданную целостность, на первый взгляд, не связанные между собой явления, будет раскрывать в себе новые, ранее не замеченные или слабо акцентированные смыслы. Более того, пушкинская концепция чело-

века, представленная в «Медном всаднике» и «подсвеченная», прежде всего, «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым», будет стимулировать мысль в направлении дальнейшего развития концептуальных представлений о человеке, его сущности.

На наш взгляд, это опирающиеся на синергетическую закономерность явление – *творение продолжает творить* – позволило О. Богдановой обнаружить в тексте «Медного всадника», кроме уже рассмотренных здесь, и другие, более сложные коды. Эти коды базируются уже не на созвучиях, но могут быть услышаны и расшифрованы только с привлечением автобиографических, иногда, кажется, совсем малозначительных эпизодов, таких, как лицейская забава, которая и послужила ключом к раскрытию «ассонансно-аллитерированной звучной анаграммы Вильгельм // Евгений». В результате за именем литературного героя поэмы «Медный всадник» у О. Богдановой правомерно замаячила тень реальной личности – Кюхли. А при напоминании сцены встречи с арестованным В. Кюхельбекером обнаруживается и незримое присутствие самого А. Пушкина, «угадывается» состояние его души и дум. Такая сложная, можно сказать, многоярусная конструкция пушкинской образной системы была в свое время отмечена *погруженным в Пушкина Ю. Тувимом* [39, 421], писавшим об этом в юбилейные дни 1957 г. в газете «Трибуна люду»:

<...> innych poetów kochamy, w Puszkynie jesteśmy zakochani. Źródło tego specyficznego stosunku do Puszkina należy szukać w pewnej rzadkiej właściwości jego geniuszu: nie znam drugiego poety, za którego każdym utworem stałby nieodstępnie żywy człowiek – on właśnie -Aleksander Puszkina <...> I to właśnie, to niepodzielne współistnienie człowieka genialnego i po prostu człowieka, wprawia nas w radość: że oto zjawił się ktoś bliski, swój, jakiś wspomniały krewny[Цит. за: 43]⁹.

Однако если польский поэт только указывает на присутствие А. Пушкина – как живого человека – за каждым его произведением, то О. Богданова доказательно обнажает это невидимое, но осязаемое присутствие в «Медном всаднике» путем рядоположения – широко известных, но существовавших в тезаурусе читателя отдельно от пушкинского произведения – биографических эпизодов с текстом поэмы. Среди них особенно важен один, произошедший 26 октября 1827 г. и потрясший поэта, который «по пути из Михайловского в Петербург на станции Залазы Псковской губернии... случайно встретил узника Вильгельма Кюхельбекера, этапиремого из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую» [3, 29]. В результате *слово*, соотнесенное с жизненным фактом, создает возможность представить и внутреннее состояние А. Пушкина в момент создания поэмы. И, выявляя в нем, говоря словами Р. Вагнера, *истинного человека* [8, 547], с его мышлением и чувством, воспринять поэта духовно близкородственным и приближенным.

Как известно, Рене Декарт в труде «Первоначальная философия» (1644) писал:

«Под словом “мышление” я понимаю все то, что совершается в нас осознанно, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только понимать, хотеть, воображать, но также и чувствовать есть то же самое, что мыслить» [13, 316.]

Иначе: сказавши «*Cogito ergo sum*» (в смысле *Я есмь*, заключающее в себе деятельность), – философ *стремился тем самым спаять мышление и чувства в неразрывную целостность*. Декартовское суждение служит основанием для того, чтобы в должной мере оценить выявленное О. В. Богдановой присутствие в подтексте «Медного всадника» не только В. Кюхельбекера, который в сопоставлении с образом Евгения тоже обретает некое обобщенное значение, стимулирующее последующие проникновения в содержательные пласты поэмы, но и присутствие в затекстовом пространстве А. Пушкина. Эффект присутствия поэта – с его духовностью и душевным состоянием в момент написания «Медного всадника» – очень важен: вспоминается и отношение поэта к декабристам, идеалам декабризма и восстанию, что не одно и то же. Следует подчеркнуть, что О. Богданова, обращаясь к страницам биографии поэта, к лицейской игре, при анализе «Медного всадника» тем самым дает возможность понять и глубоко почувствовать то, что А. Пушкин, прибегая к своей эрудиции, одновременно рассчитывал и на эрудицию читателя, воспринимая его «*n(p) освященным*» (графика О. Богдановой). Ведь без обогащения своего тезауруса он многое не охватит ни в «Медном всаднике», ни в «Евгении Онегине». Вот почему для наиболее полного постижения, например, смысла романа – через прием перечисления, через осознание его смыслообразующей функции – необходимо читать комментарии к нему и Ю. Лотмана [20], и В. Набокова [25]. Сам прием не является открытием А. Пушкина, он широко применялся в русской поэзии XVIII в., пользовался им и его дядя – Василий Львович. В. Набоков, указывая на этот прием, кратко отмечает характер его применения А. Пушкиным: *не такой длинный* [25, 577]. Однако к сказанному нужно добавить еще несколько слов о способе введения в текст *приема перечня* реальных, исторически значимых ближайших пушкинских предшественников (почти современников) и современников, о функциональной и смыслообразующей его ролях. Во-первых, эти лица не всегда представлены в одной строфе, как, например, в XVIII строфе первой главы (*Фонвизин, Княжнин, Семенова, Катенин, Шаховской, Дидло*) [27, V, 16]. Иногда они разбросаны по строфам и тем не менее это тоже перечень: «...ждет его *Каверин*» (гл. 1, XVI), «*Второй Чадаев, мой Евгений*» (гл. 1, XXV); «*Вы, школы Левшина птенцы*» (26, V, гл. 7, IV), «*Старик Державин нас заметил*» (26, V, гл. 8, II). Всеохватывающее, общее значение таких перечислений заключается в своеобразном *документировании* художественного единичного образа / типа или образа множеств, например, целого

поколения или его части - «...*Левшина* птенцы»; «...*нас* заметил». Но при этом есть и добавочные оттенки, которые обнаруживаются в том случае, если читатель откликнется на предложение А. Пушкина и, пожелав стать «*п(р)освященным*», не ограничится только краткими комментариями, где для современного читателя поясняется, кем был названный в тексте реальный, но оставшийся в истории человек – П. Катенин(1792-1853), или А. Шаховской (1777-1846), или А. Лахутина (1802-1875) etc. Недостаточно и обращение к комментариям Б. Томашевского, Н. Бродского, Ю. Лотмана и В. Набокова, хотя все они представляют большой исторический и историко-литературный интерес даже безотносительно к пушкинскому тексту не только для понимания эпохи, но и ее человека. Взять хотя бы такой фрагмент:

«– Как *dandy* лондонский одет... – Ориентация русских щеголей на английский дендизм датируется началом 1810-х гг. В отличие от петиметра XVIII в., образцом для которого был парижский модник, русский денди пушкинской эпохи культивировал не утонченную вежливость, искусство салонной беседы и светского остроумия, а шокирующую небрежность и дерзость обращения» [20, 550].

Это лотмановское пояснение приоткрывает еще одну особенность пушкинского понимания человека: в индивидуальности он видел воплощенные черты поколения определенной эпохи, одновременно осознанные и как типологическое свойство, взятое вне времени. Становится очевидной проявленная характеристика протестной формы молодых людей в переломные исторические моменты – демонстративное шокирование внешним видом и поведением.

Однако комментарии не являются достаточными для того, чтобы путем *сотворчества* представить пушкинского человека и его судьбу во всем многообразии индивидуально проявляемых типологических свойств. Для этого требуется и вдумчивый интерес реципиента к судьбам названных поэтом людей, и обращение к их жизнеописаниям, и расширение фоновых знаний, что способствует возникновению специфической игры *затекста* и *претекста* с текстом романа. Так, знание жизнедеятельности Петра Павловича Каверина позволит соотнести его не только с Онегиным (*разочарование*), но и – благодаря строке «*С душою прямо геттингенской*» – с Ленским,¹⁰ про которого сказано: «*Он верил, что друзья готовы / За честь его принять оковы...*»... Ведь этот, говоря словами В. Вацура, *порыв экзальтированной геттингенской дружбы, почти влюблённости* [9], характеризующий каверинский круг единомышленников, не чужд был ни Онегину, ни самому А. Пушкину, с его культом дружбы, памяти и размышлений о ней: «*Друзья мои, прекрасен наш союз! / Он как душа неразделим и вечен...*» («19 октября 1825») [27, II, 273]. О том, что дружба относилась поэтом к высшим духовным ценностям, говорит хронология его стихов, посвященных лицейской годовщине и носящих в определенной мере доверительно исповедальный характер - «19 октября 1827» [27, III, 35],

«19 октября 1828» [27, III, 80], «19 октября 1831 г.» [27, III, 238], «19 октября 1836» [27, III, 374–376]. Для наибольшего понимания пушкинской концепции человека и его восприятия дружбы как ценности у романтиков служит привлечение стихов поэта, посвященных П. Каверину. В результате при восприятии романа возникает углубляющая смысл игра между отдельной реальной исторической личностью и обобщенным художественным образом. Онегин предстает одновременно равным и не равным как П. Каверину, так и А. Пушкину: они сходятся между собой только в отходе от мировоззренческих представлений Владимира Ленского. Но и разнятся они именно в том, в чем сходятся. У П. Каверина разочарование – это не онегинский *сплин*: оно намного сильнее, чем у Онегина, даже катастрофично по своей сути, означая утрату смысла самой жизни. Однако он все-таки что-то делал: то уходил в отставку, то снова возвращался на службу, тогда как Евгений вел праздную светскую жизнь. Что касается А. Пушкина, то он иначе посмотрел на реальную жизнь и иначе строил свои отношения с ней: понимая ее, он свое разочарование – у него это было признаком роста – всю свою жизненную энергию направлял в творчество, видя в нем смысл, спасение и предназначение. Эта то самое понимание смысла человеческого существования, с которым созвучна бердяевская концепция предназначения человека: философ, разрабатывая ее в своих книгах «Философия свободного духа» (1927), «О назначении человека» (1931), «Царство духа и царство кесаря» (1939-1951), неизменно апеллирует к А. Пушкину. Одна из работ Н. Бердяева, написанная в бурные революционные годы, носит емкое название «Кризис искусства» (1918), который означал коренную перемену в самом художественном мышлении. В сущности речь идет об общей закономерности, которая проявилась и у А. Пушкина. Говоря о своем отходе от олицетворенного в Ленском романтического взгляда на жизнь, поэт продемонстрировал не только новое художественно-философское мышление, направив литературу по реалистическому пути, но и тип нового человека. Этот человек в своем сознании как бы объективировал Ленского, который когда-то был им самим, а в новых условиях стал его антиподом – в отношении к жизни и к людям. Здесь нет необходимости возвращаться к трактовкам образа Ленского – он глубоко осмыслен в пушкиноведении – достаточно отметить, что его внешний портрет, так органично гармонирующий с внутренней сущностью романтического героя в искусном изображении А. Пушкина, идеально воплощает в себе и ту концепцию человека, которая сложилась у поэтов и философов эпохи романтизма:

Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

[27, V, 38–39]

И эта концепция ложилась в основы житнетворчества целого поколения, она была путеводной звездой у многих, в том числе и – на самом раннем этапе формирования личности – у А. Пушкина, польских филоматов, а значит, и у А. Мицкевича, который был «*jeden z pierwszych apostołów filomatyizmu*» («одним из первых апостолов филоматизма») [46, 98].

Закономерно то, что А. Пушкин и А. Мицкевич в какой-то момент оказались «под одним плащом»¹¹: *человек и его житнетворчество* воспринимались ими согласованно, что выражалось и в их культе дружбы, оставшейся неизжитой ими до конца их дней. Столкнувшись не без душевной боли в острых принципиальных противоречиях, они оба сохраняли память о ней. А. Мицкевич, намного переживший А. Пушкина, не отступая от своей принципиально противоположной позиции, с какой-то особой проникновенностью говорит о нем, о его романе «Евгений Онегин» в своих парижских лекциях о славянской литературе в 1841-1842 гг.[39], а некролог подпишет: «Друг Пушкина». Во всем этом было что-то созвучное с пушкинской ностальгией по молодости, по тому, что было в Ленском:

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь как на обряд,
И вслед за чинною толпой
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

[27, V, 170]

Ностальгический характер строфы – многовекторный по своей адресной направленности: здесь и авторское лирическое переживание, и философские раздумья о поколении Ленского, и усиление сожаления о Ленском, которое возникает при обратном чтении после стиха: «*Несчастной жертвой Ленский пал*» [27, V, 181].

В строфе обращает на себя внимание смыслообразующая *игра* с синтаксическими конструкциями в четвертой и пятой строке, где придаточное предложение присоединяется союзным словом *что*. Игра возникает благодаря строфе, где каждый стих начинается с прописной буквы. Изъятые из целостного текста два стиха в отдельный фрагмент: «*Что* наши лучшие желанья, / *Что* наши свежие мечтанья», – подсознательно воспринимаются как самостоятель-

ные анаграмматические предложения. Ответ на вопросы содержится в легко рит(ф)мически возникающем слове **ничто**: «Что? Что? – Ничто». А это в свою очередь придает слову «истлели» выразительную визуальность, подчеркивая тщету романтических устремлений.

Говоря о пушкинской концепции человека, нельзя не обратить внимания на отношение поэта к Петербургу, Петру Первому и на разное видение этого отношения современными исследователями. Путь к разгадке, на наш взгляд, указан в статье Н. Бердяева «Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белого “Петербург”»), где сказано:

«Было что-то странное, жуткое в возникновении Петербурга... <... Магической волей Петра возник Петербург из ничего, из болотных туманов. Пушкин дал нам почувствовать жизнь этого Петербурга в своем “Медном всаднике”» [1, 36].

В бердяевской мысли ключевым словом является *жизнь*, которая многоаспектностью своего проявления и провоцирует разность в подходах, делая понятным их обоснованность. Так, С. Бураго заподозрил в словах «Люблю тебя, Петра творенье...» некую умышленную декларативность, подтверждая это знанием трагической судьбы Пушкина, тем, что поэт не мог любить Петербург, «исподволь приводившего его к дуэли» [7, 591-592]. Е. Сверстюк, напротив, пишет о любви А. Пушкина к Петербургу. Цитируя из «Медного всадника» признания поэта: «Пишу, читаю без лампы...», – он добавляет задушевное: «Для Пушкина все было родным...» [32, 9]. Однако оба, несмотря на противоположность восприятия одических строк поэмы, исходят только из психологических оснований. Понимание А. Пушкиным исторической значимости Петра Первого и признание необходимости мощной созидательной энергии для жизни как таковой содержится в концепции О. Богдановой, которая, анализируя *Вступление* к «Медному всаднику», говорит о звучании «ярко выраженного акцентно субъективированного голоса автора, его лиризованного признания в высокой и вечной любви “Петра творенью”» [3, 8]. Внимание заслуживает то, что исследовательница пишет о любви к Петербургу как *творению* Петра. Именно этот акцент связывает текст *Вступления* с пушкинской концепцией человека и во многом делает оправданным завершение статьи О. Богдановой о «Медном всаднике», которое по своей содержательности – больше, чем вывод. Оно явно становится кодовой проблемой, которая требует дальнейшей расшифровки: «...памятник славы и трагедии». В расшифрованном виде это завершение выводит поэму за рамки русской истории и одновременно остается ее страницей. Метафизический аспект тоже очевиден и вызывает раздумья о сакральной сущности Дома, взятого в его метафорическом смысле и понимаемого как Отечество. Перед А. Мицкевичем предстал Дом- Отечество. Так писал Б. Кежин (Bronisław Kieżun (1914-1984) в стихотворении «Adam Mickiewicz», раскрывая мечту поэта о времени, «Когда народы распри позабыв / В великую

семью соединятся» [27, III 278]: «On Puszkiniowi opowiadał o tym, / Zakochany w Ojczyźnie-w swoim domu» [Цит. за: 42]. (Он Пушкину рассказывал о том, влюбленный в Отечество – в свой дом»). Тогда как А. Пушкин в поэме «Медный всадник» употребил слово Дом в доминантном его значении, как очаг. Контроверзная его трактовка представлена, в частности, у А. Гуковского (дом – символ мещанства) и у С. Бураго (символ независимости). Не нужно думать, что А. Гуковский, глубокий и тонкий знаток творчества поэта, *не* понял поэта и его Евгения в «Медном всаднике», когда в книге «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (1948) писал:

«...Евгений побежден, потому что его цели – только частные, только человечески-интимные, личные <...>» [12, 403].

В доказательство приведены и строки монолога героя из первой редакции поэмы со словами: «Кровать, два стула, шей горшок / Да сам большой... Чего же боле?» [12, 405].

Это не ошибка прочтения А. Пушкина, а обусловленная контекстом конкретно-исторического времени с его идеологическими установками и жизненными ценностями позиция по отношению к *дому*, при которой интересы дома почти поглощаются интересами «всеобщего блага» и высокими целями. При всей кажущейся высоте они, как это впоследствии докажет Ч. Милош в III главе «Кетман» из книги «Порабощение разума» (1953) [22, 56-70], приводят к утрате личностного начала в человеке и его независимости, с чем фактически не мирился А. Пушкин, правоту которого доказала история.

Вернее будет сказать, что А. Гуковский вступил в диалог, но не с А. Пушкиным, а с его героем, рассматривая его мечты с позиции человека своего поколения, позиции, которая может быть теперь оценена как жертвенность, представляя собой только исторический интерес.

Однако в процессе осмысления Второй мировой войны, которая внесла свои коррективы, взгляды на *Дом* стали резко меняться: он под разным углом зрения попадает в центр писательского внимания. А вместе с тем иным предстает и сам человек, о чем свидетельствуют поэма А. Твардовского «Дом у дороги» (1942-1946), драма Л. Леонова «Золотая карета» (1946, 1957, 1964), роман Г. Белля «Woharst du, Adam» («Где ты был, Адам?», 1951), «Haus ohne Hüter» («Дом без хозяина», 1954), завершающий тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова роман «Дом» (1978) и др. Но как ни различны подходы писателей к проблеме *человек – дом*, их объединяет вопрос *о его счастье*. И если вдуматься, то за каждым текстом звучит пушкинское: «А счастье было так возможно, / Так близко!.. Но судьба...» [27, XLVII, 189]. И это ускользнувшее на веки *счастье* у Л. Леонова связано с потерей дома. Архетипный образ *Дома* осмысливается писателем как основа жизни и по-пушкински, с использованием архетипных образов пищи: у Пушкина «... и сам большой и *шей горшок*»; у Л. Леонова – сакральный *черный хлеб*. В пьесе «Золотая карета» на вопрос Кареева: «Так

что же, по-вашему мнению, прежде всего надо человеку в жизни?» – заданный при встрече фронтовику полковнику Березкину – следует ответ:

«Сперва – чего не надо. Человеку не надо дворцов в сто комнат и апельсиновых рощ у моря. Ни славы, ни почтения от рабов ему не надо. *Человеку надо, чтоб прийти домой...* и дочка в окно ему навстречу смотрит, и жена режет черный хлеб счастья. Потом они сидят, сплетя руки, трое. И свет из них падает на деревянный некрашеный стол. И на небо» [18, 602].

С Л. Леоновым солидаризуется сербская поэтесса Десанки Максимович, лирическая героиня которой, мечтая о возвращении любимого с войны, рисует такую картину «простого человеческого счастья»: он «свежий хлеб старательно нарежет», а она «насыплет в солонку соли»... [22].

Все это говорит о том, что пушкинское понимание *дома* актуализуется и осознается не только как символ личной независимости: «*Мой дом – моя крепость*», но как *Бытие*. На сегодня проблема Дома у А. Пушкина глубоко разработана В. Непомнящим. Проанализировав пушкинские тексты, ученый доказал, что Дом для поэта – «ценность важнейшая, коренная, бытийственная» [26, «Под небом голубым»]. А это в свою очередь характеризует и концепцию человека в художественно-философской системе А. Пушкина, которая находится в непосредственных диалогических отношениях с концепциями человека у других писателей, в частности европейских. Однако для полноты представлений об ее функционировании в художественном сознании XX и первой трети XXI вв. необходимо указать хотя бы на некоторые казалось бы очень отдаленные, но тем не менее возникающие переклички его мыслей с мыслями о человеке, например, современных польских поэтов, в частности, – Чеслава Милоша, Виславы Шимборской и Збигнева Герберта.

Одна из проблем, поднятых А. Пушкиным, – проблема возвращения человека в *среду*, бывшую когда-то *своей*, но ставшую *чужой*. В основе концепции *человек в своей / чужой среде* лежало то, что происходило с А. Пушкиным после возвращения его из ссылки в 1826 г., о чем с особой остротой и проникновенностью писал В. Вацуро в «Открытой филологии» [См.: 21]. Ценность этой работы ученого состоит в том, что ему удалось раскрыть глубинные пласты пушкинского понимания особого одиночества человека, находящегося в кризисной духовной изоляции, через свой личный многострадальный трагический опыт. И вот нечто близкое наблюдается в произведениях Ч. Милоша в двух направлениях: человек, попавший в грозно измененный мир («*O książce*», «*O книжке*») [23, 16], и человек, сопротивляющийся порабощению разума [24]. В первом случае Ч. Милош, хорошо знающий поэзию А. Пушкина [См.: 24, 10; 39, 246, 396, 421], пошел – независимо от него, тем же путем – путем противопоставления ушедшего типа человека новому, измененному в своем восприятии мира, что было вызвано Первой мировой войной и *законами*, «*które czerwona przesłania kurzawa*» [23, 16] (которые принесла красная пыль). Не бездушевной

боли и сожаления поэт пишет: «Już nam z twoich kart nigdy nie zaświeci mglisty / wieczór na cichych wodach jak w prozie Conrada, / ani chórem Faustowskim niebo nie zagada / i czoła zapomniany dawno śpiew Hafiza, / chłodem swoim nie dotknie, głów nie ukołysze» [23, 16]. (Уже нам никогда с твоих страниц не засветится мглистый / вечер на тихих водах, как в прозе Конрада / даже и фаустовским хором небо не отзовется, / и лба давно забытое пенье Хафиза, / холодом не коснется, головы не убаюкает). Однако и его лирический герой в дальнейшем найдет выход в творчестве, подхватив фаустовский мотив [41, 220]. Поставленная Ч. Милошем проблема человека, сопротивляющегося порабощению разума, может быть рассмотрена в контексте ее разработки А. Пушкиным в «Медном всаднике», «Везувий зев раскрыл», «И делу своему владыка сам дивился» и др., где *человеческая личность и ее судьба* представлены в *борении двух сил* [См.: 20, 294 -299].

Таким образом, сопоставление концепций человека у Ч. Милоша и А. Пушкина может создать картину изменений в духовном мире человека, происшедших в результате пережитых им социальных потрясений на протяжении XIX-XX вв., в плане приобретений и утрат.

Особый ракурс видения пушкинкой концепции человека возникает при установлении переключек – созвучных и контрверзных – при рядоположении призываний А. Пушкина, в том числе таких, как «Поэт и чернь» и др., и концептуальной поэмы «Pan Cogito» З. Герберта, где речь заходит о связи человека с родом, где он предстает в своей силе и слабости, в отношении к славе, где он должен идти вперед, невзирая ни на что, чтобы быть достойным великих предков.

Ассоциативно образуются отдаленные смыслообразующие переключки А. Пушкина с В. Шимборской. Так, игра смыслов возникает, между сценой в пушкинской трагедии – «Красная площадь. Народ» («Борис Годунов»), где Бориса упрашивают быть царем: «*Неумолим! Он от себя прогнал / Святителей, бояр и патриарха <...>. О Боже мой, кто нами будет править?*» [27, IV, 224]-и стихотворением В. Шимборской «W rzece Heraklita», где «*ryba wymyśliła rybę nad rybami* (рыба придумала рыбу над рыбами), / *ryba klęka przed rybą, ryba śpiewa rybie* (рыба встаёт на колени пред рыбой, рыба поет рыбе), / *prosi rybę o lżejsze pływanie* (просит рыбу о лёгком плавании) [45]. Рядоположение этих отрывков из стиха «W rzece Heraklita» создает эффект «комментария» к происходящему в «Борисе Годунове», заостряет трагизм, заключенный в парадоксальности социальных отношений. Одновременно этим провоцируются размышления в философском, психологическом, социальном и историческом аспектах, ставится вопрос о неизбежности выбора между *равенством* и *неравенством* (подчиненностью), необходимости сохранения личного достоинства и свободы.

Еще более отдалены отзвуки поэзии А. Пушкина в других стихах В. Шимборской. Однако они слышны и не только: особенность этих отзвуков заключена в том, что они создают широчайшее лирико-философское пространство

в границях *Пушкин-Шимборська*, притягиваюче до себе поетів, ставлячих перед собою ціль розкрити природу і сутність людини. Іменно таку задачу вирішує польська поетеса в стихотворенні «*Sto posiech*» [31;44], де вона, створюючи унікальну картину формування через упорство, творчий труд *homo sapiens(a)*, визначила в першій строфі дерзкі його бажання як життєві константи, стимулюючі дії *homofaber (a)*: *счастье, правда, вечность: Zachciało mu się szczęścia / zachciało mu się prawdy / zachciało mu się / wieczności / patrzcie go!* [Цит. за: 31, 251] (Захотелось йому щастя / захотелось йому правди / захотелось йому вечності / гляньте-ка на нього!). І все це проходить сквозними мотивами через творчість А. Пушкіна, як і ситуація, виражена В. Шимборської в короткій формулі- «*rozumem gani rozum*» («розумом гонить розум»). А визначення людини – «*słowem: prawie nikt*» (словом, ніхто) дозволяє розглянути це як проблему в трьохчастинній парадигмі: Г. Державин («Бог») – А. Пушкін («Поет і толпа», «Пророк») – В. Шимборська («*Sto posiech*»). Це ж можна сказати і про такий поетичний тезис, як «*ale wolność tu w głowie, wszeczwiedza i byt / poza niemądrym mięsem, / patrzcie go!*» [Цит. за: 31, 251] (але свобода в його голові, всевідення і буття / поза глупим м'ясом, / гляньте-ка на нього!). І нарешті, у А. Пушкіна во в усьому його творчості є відгук на здивовано-востановлене вигук поетеси: «*Sto posiech, bądź co bądź. / Niebożę. / Istny człowiek*» [Цит. за: 31, 251]. (Вот потеха, будь що буде. / Бедняга. / Істинно людина).

Відзначаючи віддалені пушкініські перекички з сучасними європейськими поетами, треба мати на увазі і слова В. Державина про те, що А. Пушкін прийшов в Європу раніше Л. Толстого і Ф. Достоєвського [14, 481]. Однак ця проблема, як і дискусійно освітлена Ч. Мілошем специфіка входження А. Пушкіна в польську літературу [24, 64], залишається недостатньо вивченою, потребує нестандартних підходів для свого розкриття.

Визложення роздумів, направлених на розкриття теми статті, підходить до свого завершення, тому в заключення слід додати декілька ітогових слів.

Воперше, навіть на основі тільки сказаного в цій статті можна з впевненістю утверджувати: у А. Пушкіна в його художньо-філософській системі людина концептуально охоплено не тільки в усіх своїх основних визначаючих її значеннях – *homo sapiens, homo faber, homo feriens* і в певній мірі *homo symbolicus* – але і як людина, осмислюючий себе. І все це зображено і виражено письменником-думателем з акцентуванням на тих або інших домінуючих проявленнях, пропущено їм через самого себе, через всю свою трагічно блискавичну життя і через розуміння людського існування: *Буття*, традиційно розуміючого як *сущее*, і *Буття / свідомості*, яке А. Пушкін, говорячи хайдеггерівським мовою, *умів запитати* і в якому *вслушався*. І воно у нього представлено, якщо глянути з точки зору сучасної філософії, як *при-сутність* (Da-sein) *тут і зараз*, взяте в понятті М. Хайдеггера, говорившого: «Поскольку для думки в “Бутті»

и времени” существенно важно осмысление бытия-вот» [34, 205]. Упоминание здесь М. Хайдеггера вполне уместно, потому что философ искал пути спасения человечества, теряющего в погоне за материальной выгодой духовность. И в этой ситуации особенно актуально звучат две мысли В. Непомнящего: «Трагедия России – прежде всего духовная трагедия» и «Пушкин – современный писатель, и слушать его надо так, как слушаем мы врача, объясняющего природу нашей болезни» [26, «Центральное явление нашей культуры»]. В связи с этим в диалогичной перекличке мнений о человеке – и о пушкинской концепции его – складывается своеобразная игра, в которой начинает игнорироваться временная последовательность высказывания мысли. И суждения, например, Н. Бердяева могут восприниматься то как предшествующие, то как продолжающие мысли о *Бытии* М. Хайдеггера и о А. Пушкине В. Непомнящего и др. Они как бы начинают вращаться, взаимодействуя друг с другом. И в круговорот идей и представлений входит голос Н. Бердяева:

«...в познании, – говорит он, – осуществляется творческое призвание человека. <...> Отблеск утраченного рая есть в искусстве, в поэзии, и человек приобщается в них к мгновениям райского блаженства через творческий экстаз, т. е. через свой творческий путь вверх. Отблеск рая лежит на поэзии Пушкина, в ней преодолевается тяжесть “мира”. Искусство Пушкина и не христианское, и не языческое искусство, а искусство райское. Но и в нем райское достигается через творчество человека, через путь человека, а не через возврат к первоначальной природе» [2, 244].

Н. Бердяеву вторит Л. Шестов, который согласуется и с представителем последующего поколения – В. Непомнящим, говоря: «Бог благословил его. <...> как некий херувим он несколько занес нам песен райских”. Пушкин редко оглядывается назад, проверяет, допрашивает» [37, 327]. Допрашивая, А. Пушкин, в своем стремлении познать человека обнажает необходимость найти ответ на его предназначение: «Жизнь, зачем ты мне дана?» [27, III, 62], в этом же аспекте может рассматриваться и стихотворение «Поэт». А стихотворения «Дар напрасный, дар случайный...» и «Стою печален на кладбище» направляют интенции в сторону философского осмысления самого таинственного явления, каким и является *Жизнь*. При этом следует не упускать из виду разнообразие диалогических отношений, складывающихся между реципиентами А. Пушкина. Нельзя не учитывать отдаленных перекличек самого А. Пушкина, существующих помимо непосредственных связей, вернее, его голоса, который, доносясь из далекой первой трети XIX-го в XX и XXI вв., оттеняет голоса современных поэтов, прежде всего европейских, обогащая их произведения философского характера добавочными смыслами. Идя к Пушкину, ища у него ответов на вопрос: *что такое человек и каков он?*-идем к самим себе.

«В произведении искусства, – говорит Ф. В. Й. Шеллинг, – отражается тождество сознательной и бессознательной деятельностей. Однако их

противоположность бесконечна.<...>Художник как бы инстинктивно привносит в свое произведение помимо того, что выражено им с явным намерением, некую бесконечность, полностью раскрыть которую не способен ни один конечный разум» [36, 478].

Этот тезис Ф. В. Й. Шеллинга, легко переосмысляемый применительно к пушкинскому наследию, дает право утверждать, что оно содержит в себе и тот *бесконечный*, неисчерпаемый по своей глубине смысл, который раскрывает перед человеком дальнейшие пути в его понимании своей сущности.

Примечания

1. Стихотворение из одноименного романа Германа Гессе. Перевод Лины Костенко [11, 438].
 2. Кене или Кенэ (François Quesnay, 4. 06. 1694 – 16. 12. 1774) – французский экономист, основоположник школы физиократов. Н. Руденко как сторонник экономической программы Ф. Кене был поддержан академиком Д. Сахаровым, который, прочитав «Энергию прогресса», согласился выступить в роли официального консультанта по вопросам физики [См. дет.: 35, 8].
 3. В энциклопедическом словаре «Литературный Санкт-Петербург. XX век» о статьях О. В. Богдановой – известного талантливого литературоведа и организатора науки – в частности, сказано: «В 2013 ... подготовила *спорные* и проблемные статьи...», что, на наш взгляд, требует уточняющей корректировки: «написала проблемные статьи, *призывающие* к дискуссии и *стимулирующие* научную мысль» [19, 271-273].
 4. Аналитическое осмысление Ю. Лотманом переносного значения стихийных образов в пушкинском творчестве [20, 208] не только подтверждает правомерность соотнесения картины наводнения, воспринятой как бунт природы, с восстанием декабристов, но и подчеркивает необходимость раскрытия этого метафорического смысла разбушевавшейся стихии. Иначе будет не вполне понятен финал поэмы [20, 295-299].
 5. О жесткости изощренной расправы Ивана Грозного с новгородцами свидетельствует казнь одного из составителей «Великих Четвх-Миней» и предтечи меценатов-купцов, построившего на свои деньги несколько церквей, – боярина Федора Сыркова, которого сначала окунули в ледяную воду Волхова, а затем живьем сварили в котле [См. подробно: 33].
 6. Самая полная публикация работы О. В. Богдановой «Наше описание вернее...» (А. С. Пушкин): образы Петра и бедного Евгения в поэме «Медный всадник» осуществлена в научно-монографическом издании Санкт-Петербургского университета. Журнальный вариант подается без рисунка Пушкина на странице его рукописи, где изображены повешенные декабристы. А между тем это не иллюстрация к тексту, а визуальный ряд, который, взаимодействуя с богдановским текстом, входит в его структуру, связывается с ним системно и тем самым подчеркивает правомерность соотносительности имен Евгений / Вильгельм.
 7. В связи с тем, что научно-монографическое исследование О. В. Богдановой вышло малым тиражом, приведем расширенную выписку из ее работы: «Выбор стихов, а точнее имени П. А. Вяземского в этом контексте тоже оказывается не просто мотивированным, но и смыслоемким, семантически значимым. Пушкин действительно опирался на образный ряд стихотворений Вяземского – однако п(р)освященному читателю он подсказывал аллюзию не на “Разговор...” и даже не на “Петербург”, а на стихотворение “Море”, написанное Вяземским летом 1826 г., сразу после известия о казни пяти декабристов, которое тот получил в Ревеле. По мысли Пушкина, имя Вяземского неизбежно должно было обратить “догадливого” читателя к известному стихотворению “Море”, в котором поэт воплощал образ восстания и его участников в символическом ракурсе, скрывая, вуалируя, маскируя их под образом морских волн, бурных и пенистых морских дочерей – с их “влажным сапфиром”, “светлой чистотой”, “прекрасными таинствами откровения”. Прием природного параллелизма позволял Вяземскому заместить образы пугающей и замалчиваемой реальности не менее выразительными и по-своему “говорящими” образами морской стихии, воссоздающей “мировое слово друга”, “отзыв” его “песням и мечтам» [3, 16-17].
- Важно и напоминание О. В. Богдановой о метафоричности образа стихии в пушкинском творчестве: «В этом смысле временная близость размышлений Пушкина о восстании Пугачева подсказывает механизм рождения и воплощения фольклорной образности в еще только обдумываемом романе

писателя: подобно морской стихии, снежная стихия (буря, метель) в последующем будет формировать в романе о Петруше Гриневе образ стихии народной (сцена появления вождя, будущего главаря Пугачева, из снежного бурана)» [3, 17]. Исследовательница, не приходя в противоречие с лотмановской трактовкой, тем не менее – благодаря словосочетанию в *еще только обдумываемом романе* «Капитанская дочка» – делает акцент на постоянном размышлении А. Пушкина над страшной, неукротимой и разрушительной силой стихийного бунта, когда в человеке пробуждается зверь. Уже сама цитата, данная в сноске, призвана ассоциативно актуализировать в памяти наших современников стремление декабристов добиться освобождения от тирании «организованным путем», не пробудив при этом стихийных выступлений, которые таились в угрозе Евгения: «Ужо тебе!»

^{8.} См. об этом подробнее в монографиях О. В. Богдановой [4; 5].

^{9.} «<...> иных поэтов люблю, в Пушкина влюблен. Источник такого специфического отношения к Пушкину следует искать в определенном свойстве его гения: не знаю другого поэта, за каждым произведением которого неотступно стоял бы живой человек – он сам – Александр Пушкин <...>. И это именно то, то неподдельное сосуществование гениального и простого человека, приводит нас в радость: что вот явился кто-то близкий, свой, какой-то кровно близкий».

^{10.} Этот вопрос глубоко осмыслен В. Вацура[9]. Нельзя упускать из виду и его статью о Каверине в «Лермонтовской энциклопедии» [10].

^{11.} О проблематичности смысла мицкевичевского метафорического образа «под одним плащом», его актуальности и изученности подробно говорится в работе Д. Ивинского «Пушкин и Мицкевич» [16].

Список использованной литературы

1. Бердяев Н. А. Кризис Искусства / Николай Александрович Бердяев. - М.: Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. – 48 с.
2. Бердяев Н. А. О назначении человека / Николай Александрович Бердяев. – М.: Республика, 1993. – 383 с.
3. Богданова О. В. «Наше описание вернее...» (А. С. Пушкин): образы Петра и бедного Евгения в поэме «Медный всадник» / Ольга Владимировна Богданова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2016. – 44 с.
4. Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е гг. XX в. – нач. XXI в.) / Ольга Владимировна Богданова. – СПб: Филологический ф-т СПбГУ, 2004. – 716 с.
5. Богданова О. В. Роман А. Битова «Пушкинский дом»: «Версия и вариант» русского постмодерна / Ольга Владимировна Богданова. – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2002. – 96 с.
6. Бриташинский В.О Милоше и его книге // Милош Ч. Порабощенный разум / В. Бриташинский. – СПб.: Алтея, 2003. –С. 1-23. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/13_m/il/osh_2.html.
7. Бурого С. Б. Набег язычества на рубеже веков / Сергей Борисович Бурого. – К. : Изд. Дом Дмитрия Бурого, 2013. – 672 с.
8. Вагнер Р. Опера и драма // Вагнер Р. Кольцо Нибелунга: Избр. работы / Рихард Вагнер. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс; СПб : TerraFantastica, 2004. –С. 421-466.
9. Вацура В. Э. К биографии В. Г. Теплякова // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). / Вадим Эразмович Вацура.-Л.: Наука. Ленингр. отд., 1983. -Т. 11. – С. 192-212.
10. Вацура В. Э. Каверин // Лермонтовская энциклопедия /Вадим Эразмович Вацура.- М.: Советская энциклопедия, 1981. -С. 212.
11. Гессе Г. Гра в бісер: роман / Герман Гессе; пер. з нім. Є. О. Поповича; худож.-оформлювач О. М. Иванова. – Харків: Фоліо, 2014. – 543 с. – (Б-ка нобелівських лауреатів). Перевод одноименного стихотворения Г. Гессе осуществлен Линой Костенко.
12. Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля / Григорий Александрович Гуковский.- М.: ГИХЛ, 1957. – 434 с.
13. Декарт Рене. Первоначальная философия / Рене Декарт - М. : Мысль, 1984. - Т. I. – С. 297-422.
14. Державин В. У задзеркаллі художнього слова. Вибрані літературознавчі праці з української та зарубіжної літератури, теорії літератури, перекладознавства, мовознавства / Володимир Державин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. -756 с.
15. Драгомирецкая Н. В. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: манифест диалога-полемики с романтизмом / Наталия Владимировна Драгомирецкая.- М. : Наука, 2000. -256 с.
16. Ивинский Д. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений // [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.dslib.net/russkaja-literatura/pushkin-i-mickevich-istorija-literaturnyh-otnoshenij.html>
17. Кузьмин М. Синергетика и искусство // Соты / Михаил Кузьмин. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 1998. – № 1 [Электронный ресурс] Режим доступа: www.burago.com.ua/.../585-mikhail-kuzmin-sinergetika-i-iskusstvo

18. Леонов Л. М. Золотая карета // Леонов Л. М. Собр. соч.: В 10 т. / Леонид Максимович Леонов. - М. : Худож. лит., 1983. - Т. 7. - 686 с.
19. Литературный Санкт-Петербург. XX век: энциклопедический словарь: в 3 т. – СПб., 2015. – Т. 1. – 2-е изд., испр. и доп. – 768 с.
20. Лотман Ю. М. Пушкин / Юрий Михайлович Лотман. -С-Петербург : Искусство-СПБ, 1995. – 847 с.
21. Майофис М. «Открытая филология» В. Э. Вацура// Журнальный зал /Мария Майофис. -[Электронный ресурс] Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/maiiof.html>
22. Максимович Д. «Мрія про домашній спокій» // Максимович Десанка. Три вірші / Пер. з серб. Ольга Маргішева// Всесвіт. – 2004. – № 1-2. – С. 143.
23. Милош Ч.Вибрані поезії: Упор. і пер. зпол. С. О. Шевченка / Чеслав Милош. -Львів : Каменярь, 2000. – 133 с.
24. Милош Ч. Порабощенный разум / Чеслав Милош. – СПб : Алтея, 2003. –158 с. -[Электронный ресурс] Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/13_m/il/osh_2.htmaza
25. Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» – Перевод с англ. / Владимир Владимирович Набоков.- СПб «Искусство-СПБ», «Набоковский фонд» 1998. – 928 с.
26. Непомнящий В. С. Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы / Валентин Семенович Непомнящий – [Электронный ресурс] Режим доступа: azbyka.ru/fiction/da-vedayut-potomki-pravoslavnyh-pushkin-tossiya-my
27. Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. / Александр Пушкин. – М.: Изд-во АН СССР, 1956-1958. – Т. V-С. 9-213. Далее ссылки на это издание будут даны в тексте с указанием тома и страницы.
28. Раевский В. Ф. К друзьям // Поэзия декабристов. -Л., 1950.-С. 481.
29. Раевский В. Ф. Певец в темнице // Там же.- С. 476-477.
30. Руденко М. Д. Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології / Упоряд. Р.А. Руденко. – / Микола Данилович Руденко. – К.: ТОВ «Вид-во “КЛІО”», 2015.- 680 с.
31. Саковець А. Поезія у перекладі: українська Шимборська: монографія / Андрій Саковець. – Львів -Житомир: Полісся, 2006. -306 с.
32. Сверстюк Є. Гоголь і українська ніч. Есеї / Євген Сверстюк. -К. : КЛІО, 2013. -328 с.
33. Скрынников Р. Г. Иван Грозный / Руслан Григорьевич Скрынников. – М. ООО «Издательство АСТ», 2001. – 480 с. Это же: [Электронный ресурс] Режим доступа: http://militera.lib.ru/bio/skrynnikov_rg/03.html
34. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. / Мартин Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – 447 с.
35. Шевчук В. Український вимір загальнолюдського рятівного знання: подвижництво Миколи Руденка-мислителя // Руденко М. Д. Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології / Упоряд. Р. А. Руденко. -/ Володимир Шевчук.- К. : ТОВ «Вид-во “КЛІО”», 2015. -С. 5 – 24.
36. Шеллинг Ф. В. Ф. Й. Соч.: в 2 т. / Пер. с нем. / Сост., ред., авт. вступ. ст. А.В. Гулыга / Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг – М.: Мысль, 1987 -Т. I.- С. 227 - 489.
37. Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Соловьева // Шестов Л. Сочинения / Лев Исаакович Шестов. – М.: Раритет, 1995. – 431 с. (Философское наследие)
38. Шимборская Вислава. В реке Гераклита / Пер. Руслана Винниченко [Электронный ресурс] Режим доступа:<https://www.stihi.ru/2011/01/20/5740>
39. Franaszek Andrzej. Młosz. Biografia / Andrzej Franaszek-Kraków :Znak, 2011. – 959 s.
40. Mickiewicz A. Literatura słowiańska. Wykłady w Collège de France // Mickiewicz A. Dzieła: W 10 t. / Adam Mickiewicz. – Kraków: Czytelnik, 1953. – Т. X. -S. 334-338.
41. Miłosz Cz. Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. – Kraków : Znak, -317 s.
42. Orłowski Jan Puszkin i Mickiewicz. Rosyjski mit dwóch poetów pod jednym płaszczem[Электронный ресурс] Режим доступа: <http://pisarze.pl/eseje/10771-jan-orlowski-puszkin-i-mickiewicz-rosyjski-mit-dwoch-poetow-pod-jednym-plaszczem.ht ml>
43. Orłowski Jan Julian Tuwim w kręgu poezji Puszkina [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://pisarze.pl/eseje/6023-jan-orlowski-julian-tuwim-w-kręgu-poezji-puszkina.html>
44. Szymborska Wisława, Sto pociech[Электронный ресурс] Режим доступа: wiersze.doktorzy.pl/stopociech.htm
45. Szymborska Wisława. W rzece Heraklita [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://poema.pl/publikacja/1291-w-rzece-herak>
46. Witkowska Alina. Równieśnicy Mickiewicza/ Alina Witkowska- Warszawa, PW «Wiedza Powszechna», 1962. – 326 s.

Оляндер Л.К.

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
просп. Волі, 13, м. Луцьк, Україна, 43025
olk32@ukr.net

**ЛЮДИНА У ТВОРЧОСТІ О. ПУШКІНА ЯК ПРИВІД
ДО ДІАЛОГУ З ПИСЬМЕННИКАМИ ХХ – ХХІ СТ.**

У статті, виходячи з характеристики О. Пушкіна, наданої йому Л. Шестовим: «...він вільно і сміливо рухається» і «ніхто з російських письменників не вмів так глибоко і напружено думати, як він», -стверджується, що в пушкінській концепції людина предстає русі самого життя, що ця концепція позбавлена закамінелості, її неможливо та й не треба брати в кліщі дефініції. Доведено на конкретних прикладах, що художньо-філософська думка поета завжди природно діалогічна, що його концепція людини, виходячи за межі свого часу, стимулює реципієнта розглядати її в контексті людини інших письменників, котрі живуть в інші епохи, у тому числі й наступні.

Ключові слова: анаграматичні речення, дефініція, інтенція, концепція людини, претекст, пушкінське рівняння, реципієнт, строфа, синергетика, текст.

Oliander L. K.

Lesya Ukrainka Eastern European National University
Department of Slavic Philology
olk32@ukr.net

**A PERSON IN A. PUSHKIN'S WORKS AS A REASON TO
DIALOGUE BETWEEN THE WRITERS
OF THE XX – XXI CENTURIES**

The article, based on the characteristics of A. Pushkin given by Shestov: "... he moves freely and courageously" and "none of the Russian writers could not think so deep and hard as he did", – tells that in Pushkin's concept a man appears in the movement of life itself, this concept is not petrified, it is not possible and not necessary to give some definitions for this conception. Specific examples proved that artistic and philosophical thought of the poet has always dialogic nature, that his concept of a man, going beyond his time, encourages the recipient to consider it in the other writers' context of a man who live in other times, including the following.

Keywords: anagrammatical sentence, definition, intention, the concept of a man, Pushkin equation, recipient, verse, synergetics, text.

References

1. Berdjaev N. A. (1918) *Krizis Iskusstva* [The crisis of art], Moscow, Izdanie G. A. Lemana i S. I. Saharova [in Russian].
2. Berdjaev N. A. (1993) *O naznachenii cheloveka* [About the Purpose of a Human Being], Moscow, Respublika [in Russian].
3. Bogdanova O. V. (2016) «Nashe opisanie vernee...» (A. S. Pushkin): obrazy Petra i bednogo Evgenija v pojeme «Mednyj vsadnik» [„Our description rather...” (A. S. Pushkin): The images of Peter and poor Eugene in poem „The Bronze Horseman”], Saint Petersburg, Filologicheskij fakul'tet SPbGU [in Russian].

4. Bogdanova O. V. (2004) Postmodernizm v kontekste sovremennoj russkoj literatury (60–90-e gg. XX v. nach. XXI v.) [Postmodernism in the context of modern Russian literature (60-90-ies of XX century, early XXI century)], Saint Petersburg, Filologicheskij fakul'tet SPbGU [in Russian].
5. Bogdanova O. V. (2002) Roman A. Bitova «Pushkinskij dom»: «Versija i variant» russkogo postmoderna [A. Bitov's Novel "Pushkin's House": "version and variant" of Russian postmodernism], Saint Petersburg, Filologicheskij fakul'tet SPbGU [in Russian].
6. Britashinskij V. (2003) O Miloshe i ego knige [About Milosh and His Book] – Milosh Ch. Poraboshhennyj razum [Enslaved Mind], Saint Petersburg, Alteja, available at: http://krotov.info/lib_sec/13_m/il/osh_2.html [in Russian].
7. Burago S. B. (2013) Nabeg jazychestva na rubezhe vekov [The inroad of paganism at the turn of the century], Kyiv, Izd. Dom Dmitrija Burago
8. Vagner R. (2004) Opera i drama [Opera and Drama] – Vagner R. Kol'co Nibelunga: Izbr. Raboty [The ring of the Nibelung: selected works] Moscow, Izd-vo JeKSMO-Press; , Saint Petersburg, TerraFantastica [in Russian].
9. Vacuro V. Je. (1983) K biografii V. G. Tepljakova [To V. G. Tepljakov's biography] – Pushkin: Issledovanija i materialy [Pushkin: studies and materials], Leningrad, Nauka, Leningrad. otd., vol. 11 [in Russian].
10. Vacuro V. Je. (1981) Kaverin [Kaverin] – Lermontovskajaj enciklopedija [Lermontov encyclopedia], Moscow, Sovetskaja jenciklopedija [in Russian].
11. Gesse G. (2014) Gra v biser: roman [Play beads: a novel], Kharkiv, Folio [in Ukrainian]
12. Gukovskij G.A. (1957) Pushkin i problemy realisticheskogo stilja [Pushkin and Problems of realistic style], Moscow, GHL [in Russian].
13. Dekart Rene (1984) Pervonachal'na filosofija [The original philosophy], Moscow, Mysl', vol. 1 [in Russian].
14. Derzhavin V. (2015) U zadzerkalli hudozhn'ogo slova. Vibrani literaturoznavchi praci z ukrains'koï ta zarubizhnoï literaturi, teorii literaturi, perekladoznavstva, movoznavstva [In the mirror of artistic word. Selected literary works in Ukrainian and foreign literature, literary theory, translation studies, linguistics], Ivano-Frankivsk , Misto NV [in Ukrainian].
15. Dragomireckaja N. V. (2000) A. S. Pushkin. «Evgenij Onegin»: manifest dialoga-polemiki s romantizmom [A.S. Pushkin. „Eugene Onegin”: a Manifesto of dialogue-polemics with romanticism], Moscow, Nauka [in Russian].
16. Ivinskij D. Pushkin i Mickevich: Istorija literaturnyh otnoshenij [Pushkin and Mizkevich: History of literary relations], available at: <http://www.dslib.net/russkaja-literatura/pushkin-i-mickevich-istorija-literaturnyh-otnoshenij.html>
17. Kuz'min M. (1998) Sinergetika i iskusstvo [Synergetics and the arts] – Soty [Honeycomb], Kyiv, Vidavnychij dim Dmitra Burago, № 1, available at: www.burago.com.ua/.../585-mikhail-kuzmin-sinergetika-i-iskusstvo
18. Leonov L. M. (1983) Zolotaja kareta [The Golden coach] – Leonov L. M. Sobr. soch.: V 10 t. [Collected works, vol. 1 – 10, Moscow, Hudozh. lit., vol. 7 [in Russian].
19. Literaturnyj Sankt-Peterburg. XX vek: jenciklopedicheskij slovar': v 3 t. (2015) [Literary St. Petersburg XX-th century: encyclopedic dictionary, vol. 1 – 3], Saint Petersburg , vol. 1. [in Russian].
20. Lotman Ju. M. (1995) Pushkin {Pushkin}, Saint Petersburg, Iskusstvo [in Russian].
21. Majofis M. «Otkrytaja filologija» V. Je. Vacuro [V. Je. Vacuro's „Opened Phylology”] – Zhurnal'nyj zal, Marija Majofis [Coffee room of Maria Matios], available at: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/maiof.html>
22. Maksimovich Desanka (2004) «Mrija pro domashnij spokij» [Dream about Home Rest] – Maksimovich Desanka. Tri virshi [Three Poems], Per. z serb. Ol'ga Martisheva – Vsesvit [Univerce], № 1 [in Ukrainian].
23. Milosh Ch. (2000) Vibrani poezii [Selected Poems], Upor. i per. Z pol. S. O. Shevchenka, L'viv , Kamenjar [in Ukrainian].
24. Milosh Ch. (2003) Poraboshhennyj razum [Enslaved Mind] , Saint Petersburg, Alteja, available at: http://krotov.info/lib_sec/13_m/il/osh_2.htm [in Russian].
25. Nabokov V. (1998) Kommentarij k romanu A. S. Pushkina «Evgenij Onegin» [Comments to Alexander Pushkin's novel «Eugene Onegin»], Saint Petersburg “Iskusstvo-SPB”, «Nabokovskij fond» [in Russian].
26. Nepomnjashhij V. S. Da vedajut potomki pravoslavnyh. Pushkin. Rossija. My [Let the descendants of the Orthodox know. Pushkin. Russia. We], available at: azbyka.ru/fiction/da-vedajut-potomki-pravoslavnyx-pushkin-rossiya-my
27. Pushkin A. S. (1956 – 1958) Evgenij Onegin [Eugene Onegin] – Pushkin A. S. Poln. sobr. sch.: v 10 t. [Complete works, vol. 1 – 10], Moscow, Izd-vo AN SSSR, vol.5 [in Russian].
28. Raevskij V. F. (1950) K druž'am [To a Friends] – Pojezija dekabristov [Poetry by Dekabrists], Leningrad [in Russian].
29. Raevskij V. F. (1950) Pevec v temnice [The poet in prison] – Pojezija dekabristov [Poetry by Dekabrists], Leningrad [in Russian].

30. Rudenko M. D. (2015) Energija progresu. Vibrani praci z ekonomii, filosofii i kosmologii [The energy of progress. Selected papers on economy, philosophy, and cosmology], Kyiv, TOV «Vid-vo "KLIO"» [in Ukrainian].
31. Sakovec' A. (2006) Poezija u perekladi: ukrains'ka Shimbors'ka: monografija [Poetry in translation: Ukrainian Szymborska: Monograph], Ljublin – Zhitomir, Polissja [in Ukrainian].
32. Sverstjuk Є. (2013) Gogol' i ukrains'ka nich. Eseї [Gogol and Ukrainian night: Essays], Kyiv, KLIO [in Ukrainian].
33. Skrynnikov R. G. (2001) Ivan Groznyj [Ivan the Terrible], Moscow, OOO «Izdatel'stvo AST», available at: http://militera.lib.ru/bio/skrynnikov_rg/03.html
34. Hajdegger M. (1993) Vremja i bytie. Stat'i i vystuplenija [Time and Life, Articles and speeches], Moscow, Respublika [in Russian].
35. Shevchuk V. (2015) Ukrains'kij vimir zagal'nojuds'kogo rjativnogo znannja: podvizhnicтво Mikoli Rudenkamislitelja [Ukrainian dimension universal life-saving knowledge: the asceticism of Mykola Rudenko-the thinker] – Rudenko M. D. , Energija progresu. Vibrani praci z ekonomii, filosofii i kosmologii [The energy of progress. Selected papers on economy, philosophy, and cosmology], Kyiv, TOV «Vid-vo "KLIO"» [in Ukrainian].
36. Shelling F. V. F. J. (1987) Soch.: v 2 t. [Works, vol.1 – 2], Moscow, Mysl', vol 1 [in Russian].
37. Shestov L. (1995) Umozrenie i apokalipsis. Religioznaja filosofija Vl. Solov'eva [Speculation and the Apocalypse. Religious philosophy of VL. Solovyov] – Shestov L. Sochinenija [Works], Moscow, Raritet [in Russian].
38. Shimborskaja Vislava. V reke Geraklita [In Geraklit's River], Per. Ruslana Vinnichenko [Translated by Ruslana Vinnichenko], available at: [dostupa:https://www.stihi.ru/2011/01/20/5740](https://www.stihi.ru/2011/01/20/5740)
39. Franaszek Andrzej (2011), Msłoz. Biografia, Kraków [in Polish].
40. Mickiewicz A. (1953) Literatura słowiańska. Wykłady w Collège de France – Mickiewicz A. Dzieła: W 10 t., Kraków, Czytelnik, T. X [in Polish].
41. Miłoz Cz. Piesek przydrożny, Kraków, Znak [in Polish].
42. Orłowski Jan, Puszkina i Mickiewicz. Rosyjski mit dwóch poetów pod jednym płaszczem, available at: <http://pisarze.pl/eseje/10771-jan-orlowski-puszkina-i-mickiewicz-rosyjski-mit-dwoch-poetow-pod-jednym-plaszczem.html> [in Polish].
43. Orłowski Jan, Julian Tuwim w kręgu poezji Puszkina, available at: <http://pisarze.pl/eseje/6023-jan-orlowski-julian-tuwim-w-kregu-poezji-puszkina.html> [in Polish].
44. Szymborska Wisława, Sto pociech, available at: wiersze.doktorzy.pl/stopociech.htm [in Polish].
45. Szymborska Wisława, W rzece Heraklita, available at: <https://poema.pl/publikacja/1291-w-rzece-herak> [in Polish].
46. Witkowska Alina (1962) Równieśnicy Mickiewicza, Warszawa, PW «WiedzaPowszechna» [in Polish].

Статтю подано до редколегії 5 вересня 2016 р.